

Ползунков — эпизод 1 из 6

Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жируэтку. Странное дело! Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что всё его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во всё горло и неприличнейшим образом, в глаза, но в то же время и я даю клятву в том его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения; но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что всё это происходило не иначе, как от доброго сердца, а вовсе не от материальной невыгоды быть прогнанным в толчки и не занять у кого-нибудь денег: этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но, боже мой! какой это был заем! и с каким видом он делал этот заем! Я предположить не мог, чтоб на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло уместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было! И стыд-то, и ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и

просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества всё это, как молнии, проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на божием свете и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа! Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостию: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностью и с поползновением на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время непрерывное самоумаление всё это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обреченною личностью, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде, другим в угод, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта: чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих покровителей, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами... Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик. Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему одному дали исключительно слово. Слушайте, шепнул мне хозяин. Он рассказывает иногда прелюбопытные вещи... Интересует он Вас? Я кивнул головою и втеснился в толпу. Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во всё горло. Я знаю Федосея Николаича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаича!